

The background image is a dark, atmospheric photograph of a person in a black hooded cloak walking away from the viewer down a narrow, cobblestone street. The street is littered with fallen yellow leaves, suggesting an autumn setting. The buildings on either side are old and somewhat dilapidated, with bare tree branches visible in the upper right. The overall mood is mysterious and somber.

Сергей Патрушев

Я Тень

Сергей Патрушев

Я Тень

<https://litres.ru/74308507>

SelfPub; 2026

Аннотация

Я есть, но меня как будто не существует, я лишь функция, отражение чужих ожиданий. Это голос человека, который научился быть тенью, незаметным, удобным, всегда уступающим дорогу. На семейных фото он с краю, его идеи присваивают, в компании он идеальный слушатель, чьи истории никогда не звучат, но однажды молчание становится невыносимым.

Эта книга психологическая исповедь, анатомия невидимости и путь обретения права на собственную жизнь. Четыре главы ведут читателя от горького узнавания себя через столкновение с теми, кто живет громко, к главному вопросу: «Чего хочу я?» Без волшебных превращений, без фальшивых прозрений, только честный, трудный, полный сомнений шаг из сумрака к твёрдой почве под ногами.

Содержание

Глава 1. Второй ряд	4
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Сергей Патрушев

Я Тень

Глава 1. Второй ряд

Существует особый вид прозрачности. Не тот, о котором мечтают в детстве, представляя себе шапку-невидимку, веселые проказы и возможность проникнуть в закрытые двери. Нет, та прозрачность — острая, авантюрная, она предполагает, что ты — активный субъект, что это твой выбор, твоя шалость. Моя прозрачность была иной. Она не давала свободы, она лишала объема. Это прозрачность воздуха в комнате, которым дышат, не замечая его вкуса. Прозрачность мебели, на которой сидят, не думая о том, кто её смастерил. Прозрачность функции, которую исполняют, не вспоминая имени исполнителя. Она была не даром, а средой обитания, вязкой, как застоявшийся воздух в помещении, которое давно не проветривали — вроде бы и дышать можно, но с каждым вдохом в легкие попадает все меньше жизни и все больше пыли. Эту прозрачность не дают от рождения, ей обучаются. Медленно, старательно, год за годом, получая негласные, но оттого не менее весомые пятерки по предмету, которого нет ни в одном расписании, — «Быть удобным». Я

был отличником в этой школе. Круглым, блестящим, образцово-показательным отличником, чье имя, впрочем, забывали внести в ведомость сразу после выставления оценки. Парадокс, но быть идеально удобным означает быть вычеркнутым из списков. Потому что удобное не имеет имени, оно просто есть, как воздух, как вода из крана, как свет, загорающийся по щелчку выключателя.

Вот семейный фотоальбом — пухлый талмуд в бордовом дерматиновом переплете с золотым тиснением, которое уже началось осыпаться мельчайшей пудрой на пальцы. Мать достает его по большим праздникам, когда за столом собирается достаточно народу, чтобы возникло желание коллективно окунуться в прошлое. Альбом этот хранится в серванте, за стеклом, в нижнем ящике, куда я, будучи ребенком, боялся заглядывать — мне казалось, что там обитает сама История, требующая к себе почтительного молчания. Пролитайте его, не спеша, вглядываясь в глянцевые прямоугольники, в эти застывшие мгновения чужого веселья. Черно-белые карточки с фестончатыми краями сменяются цветными, чуть более яркими, но уже начинающими выцветать по краям. Остановите взгляд на любой общей фотографии — на дне рождения, на праздновании Нового года, на пикнике за городом, где все стоят, обнявшись, на фоне сосен и мангала. Видите фигуру у самого края? Она всегда чуть смазана. Не потому, что я дергался, а потому что объектив в те далекие

времена наводили по центру, и резкость падала именно там, на периферии, где кончалась зона внимания и начиналась область неважного. Тот, кто стоит, неестественно выпрямившись, словно боясь занять собой слишком много драгоценного места и вторгнуться в кадр кого-то более важного, более реального, более заслуживающего быть запечатленным. Тот, чье плечо наполовину обрезано, чей локоть срезан безжалостной границей снимка, чья улыбка вышла смазанной, потому что именно в момент спуска затвора он решил, что улыбаться слишком громко, слишком заметно — неприлично, и загасил радость на полпути, оставив лишь её бледный, неуверенный след. Это я. На всех фотографиях моего детства я с краю. Не потому что меня специально туда ставили, задвигали, как ненужный стул. Нет. Просто я сам инстинктивно, безошибочно, с какой-то собачьей чуткостью находил это место, этот второй ряд, эту периферию. Мое тело само знало, куда ему нужно встать, чтобы не нарушить гармонию, чтобы не перегрузить композицию, чтобы оставаться в рамках отведенного мне невидимого лимита пространства. Потому что в центре — жизнь. Яркая, громкая, уверенная, имеющая безусловное, не требующее доказательств право на существование. А на периферии — её обслуживание, её бледная, трепетная тень. И это распределение ролей казалось мне единственно возможным, заложенным в самом фундаменте мироздания.

Мне было, наверное, года четыре, когда я впервые осознал правило, которое потом, как гранитная плита, легло в основу моей личности, определив её контуры и пределы. Правило это не было высечено на скрижалях, не было написано в букваре крупными буквами, не было озвучено за ужином в форме ультиматума. Оно витало в воздухе нашей квартиры, как запах старой мебели и чуть подгоревшего молока, вплеталось в интонации матери, в её вздохи, в её устало опущенные плечи, в осторожные, выверенные движения отца, который всегда ходил по квартире так, словно боялся что-то опрокинуть. Оно звучало как «Не мешай». Не мешай отцу, он устал, у него был тяжелый день, ему нужно побыть одному, не лезь к нему с вопросами и рисунками. Не мешай матери, у нее голова болит, у нее давление, у нее нет сил на твои капризы, посиди тихо в углу, займи себя сам. Не мешай гостям, не встревай в разговоры взрослых, не смейся слишком громко, не бегай, не шуми, вообще стань невидимым и неслышимым, пока они не уйдут. Человек, который не мешает — хороший человек. Человек, который хочет чего-то для себя, требует внимания, высказывает недовольство, плачет слишком громко или смеется слишком залихватно — плохой. Он создает шум, он оттягивает на себя энергию, он беспокоит, он является источником энтропии в отлаженном, хрупком механизме семейного покоя. И я, с удивительной для ребенка пугающей чуткостью, усвоил это уравнение. Чтобы быть любимым, нужно быть незаметным. Что-

бы не причинять боль, нужно исчезнуть. Чтобы заслужить право находиться в пространстве, нужно занять как можно меньше этого самого пространства. Я учился сжиматься, как учится сжиматься легкое, делая выдох. Только мой выдох длился годами, и я все не делал вдоха.

Я помню, как однажды, в первом классе, у меня разболелся живот. Не так, чтобы до слез, до крика, до скрюченных пальцев, вцепившихся в парту, но достаточно сильно, чтобы хотеть свернуться калачиком, зажмуриться, прижать колени к груди и замереть, пережидая эту тупую, пульсирующую, выкручивающую внутренности боль. Я сидел за партой, кусал губу и молчал. Потому что сказать учительнице — значит помешать уроку, прервать её объяснение, заставить весь класс обернуться на меня, стать центром внимания. Позвонить маме — значит заставить её волноваться, отрываться от работы, мчаться через весь город в школу, создавать проблемы, быть проблемой. Быть проблемой — самое страшное преступление, караемое не окриком, не наказанием, но тем особым, тягостным вздохом усталого разочарования, который ранит сильнее любого ремня. Я терпел до конца уроков, отсчитывая минуты, глядя на круглые часы над доской, чья минутная стрелка ползла с издевательской медлительностью. А когда вышел из школы, меня вырвало прямо у крыльца, на вычищенный дворником асфальт, на серые, безразличные плиты, по которым только что пробежали

мои одноклассники. Помню не боль, не унижение, не мерзкий вкус во рту. Помню жгучий, парализующий, всепоглощающий стыд. За то, что устроил сцену, за то, что меня заметили в таком неприглядном, физиологичном, отвратительно-человеческом виде, за то, что мое тело, эта непослушная, предательская биологическая оболочка, осмелилось заявить о себе громче, чем мой разум, чем моя воля, чем моя выдрессированная способность к самоподавлению. Я извинялся тогда, стоя над лужей, чувствуя на себе взгляды случайных прохожих. Извинялся перед учительницей, перед мамой, даже перед дворником с его широкой деревянной лопатой. За то, что существую и это мое существование вдруг стало таким навязчивым, таким неприличным, таким неудобным.

Школа стала настоящим полигоном для оттачивания мастерства невидимости. Если дом был теоретическим классом, то школа — полевой практикой, ежедневным экзаменом на умение растворяться в среде. Я быстро понял фундаментальное правило: отвечать у доски — лотерея, рулетка с непредсказуемым исходом. Можно ответить блестяще и сорвать скупую похвалу, сухой кивок учителя, который забудется через минуту. А можно ошибиться, запнуться, сказать невпопад и стать объектом насмешек, получить кличку, которая прилипнет на годы, стать той самой историей, которую будут пересказывать на переменах. Риск не стоил того. Гораздо безопаснее — знать, но молчать. Хранить знание в

себе, как хранят драгоценность в шкатулке, не выставляя её на всеобщее обозрение. Я всегда знал ответ. Всегда. С самого первого класса. Я сидел за третьей партой второго ряда — идеальная позиция для снайпера невидимости. Ни в каком случае не за первой, не на виду, не под носом у учителя, где каждое твоё движение под микроскопом. Рука моя, чуть приподнятая, никогда не взлетала вверх требовательно и жадно, как у отличников, как у тех, кто рвется к доске, расталкивая локтями воздух. Она была согнута в локте, прижата к телу, ладонь находилась на уровне плеча, пальцы чуть подрагивали. Я не требовал, я скромно, почти извиняясь, предлагал. И, как правило, мое предложение оставалось незамеченным. Учительница выбирала лес уверенных, дерзких, высоко поднятых рук, а мой робкий флажок тонул в этом лесу, как тонет одинокий лист в бурной реке. Поначалу было обидно. Колочая, жгучая обида подступала к горлу, горячила глаза, требовала выхода. Потом я привык. Более того, я нашел в этом особое, извращенное, почти сладостное удовольствие. Я знаю, а они — нет. Я обладаю истиной, но не размениваю её на дешевое признание. Я мог бы, но я не стану. Это давало иллюзию контроля, иллюзию собственного выбора. Я выбираю молчание. Это мое решение, акт моей свободной воли, а не проявление моей слабости. Так я убеждал себя, и это убеждение помогало мне засыпать по ночам.

Окончательно навык закрепился, зацементировался в ко-

стях к старшим классам, когда пришло время первых инициатив, первых проектов, первых публичных выступлений, первых конкурсов, где требовалось не просто знать, но и предъявить свое знание миру. Я писал неплохие доклады. Действительно неплохие, с интересными, нешаблонными мыслями, с поворотами, которых не было в учебнике, с фактами, которые я сам откапывал в библиотеке, обложившись энциклопедиями и подшивками журналов. Я чувствовал, как мысль пульсирует под пальцами, как она обретает плоть, как из разрозненных кусочков информации складывается стройная, элегантная конструкция. Но когда вставал вопрос, кто поедет на городскую конференцию, кто будет представлять школу, кто выйдет на сцену перед незнакомой аудиторией и чужими строгими учителями, моя кандидатура даже не рассматривалась. И я сам, своими руками, отдавал свои наработки кому-то более голосистому, более уверенному, более фактурному — тому, у кого язык был подвешен лучше, глаза горели тем самым огнем, которого у меня никогда не было, а голос не дрожал на первой же фразе. «Саш, давай ты, у тебя лучше получится», — говорил я, и это не было ни лицемерием, ни рисовкой, ни ложной скромностью. Я искренне, на полном серьезе верил, что у Саши получится лучше. Он сможет донести, он не забудет слова от волнения, он не будет мямлить, краснеть, запинаться и пить воду дрожащей рукой. Моя роль — найти, структурировать, красиво разложить по полочкам, отшлифовать каждую фразу.

Его роль — озвучить и получить аплодисменты. Я был чернорабочим смысла, он — его аристократическим лицом. И когда Саша, раскрасневшийся и счастливый, возвращался с дипломом, пожимая плечами и говоря «Да ладно, фигня вообще, там конкуренции ноль», я радовался вместе со всеми, хлопал его по плечу, улыбался, а внутри, где-то глубоко под ложечкой, чувствовал лишь легкий, едва уловимый холодок, как от сквозняка из неплотно закрытого окна. Я был причастен к победе, но победа была не моя. Я был почвой, перегноем, питательным раствором, но не цветком. Цветком был кто-то другой.

Институт превратил это свойство в профессионализм, отшлифовал его до блеска, сделал его моим главным карьерным активом и одновременно моим пожизненным приговором. В мир большого офиса, стекла, бетона, опенспейсов и конференц-залов я вошел уже готовым винтиком, идеально обточенным, чтобы встать в любой паз, не скрипеть, не требовать смазки. И я идеально вписался. Вы знаете эти бесконечные офисные пространства, где жужжат кулеры, клацают клавиатуры, пахнет разогретой в микроволновке едой и остывшим кофе? Там у каждого своя экосистема, своя биологическая ниша. Есть альфа-самцы, чей голос перекрывает гул, чьи идеи, даже самые бредовые, встречаются с энтузиазмом, чей смех разносится по всему этажу. Есть яркие, харизматичные женщины, которые могут продать снег эски-

мосам и заставить поверить в абсурд. Есть серые кардиналы, плетущие интриги в курилках. А есть я. Тот, кто сидит, чуть ссутулившись, перед монитором, сливаясь с его серым корпусом, и чье отсутствие никто не заметит, пока не перестанет работать какой-нибудь важный отчет, не зависнет база данных или не возникнет проблема, которую больше некому решать. Потому что я — функция. Ходячий, думающий, переживающий, рефлексирующий, но все же функция. Я — тот самый «человек, который все чинит», но которого никогда не зовут на корпоратив просто так, ради смеха и общения.

Совещания по вторникам — мой персональный театр абсурда, ритуал, который я прохожу еженедельно с чувством отстраненного дежавю. Я одновременно и зритель, сидящий в темном зале, и невидимый актер на сцене, чью роль вырезали из программки. Большой стол из светлого дерева, крутящиеся кресла, обтянутые серой тканью, проектор, рисующий на белой стене графики роста и падения, столбики диаграмм, разноцветные стрелки, уходящие в гипотетическое будущее. Наш руководитель, грузный мужчина с вечно расстегнутой верхней пуговицей рубашки, с красным лицом и одышкой, любит мозговые штурмы. «Народ, давайте идеи, не стесняемся. Любые, самые безумные! Креативьте!» — бросает он в зал, и зал взрывается фонтаном голосов. Идеи летят, как искры, сталкиваются, множатся, часто идиотские, сырые, нежизнеспособные, пригодные лишь для то-

го, чтобы быть выкрикнутыми и забытыми. Их выкрикивают, чтобы отметить, чтобы показать активность, чтобы начальник запомнил имя и лицо. Я же сижу, чуть в стороне, и черкаю в блокноте. Моя идея, пришедшая мне в голову пять минут назад, стройная, продуманная, взвешенная, но которую я боялся озвучить, перекатывая её на языке, как горячую картофелину, вдруг вылетает из уст того самого бойкого Саши — да, мы с ним по странной, издевательской случайности судьбы оказались еще и в одном офисе, в одном отделе, на одном этаже. Он произносит её, чуть перефразировав, чуть более уверенным, громким, поставленным тоном. Руководитель кивает, его глаз загорается, он улавливает рациональное зерно. «Отлично, Саш, вот это мысль! Это то, что нам нужно. Разработай в двухдневный срок, представишь в четверг». И Саша разрабатывает. Мою мысль. А я смотрю в свой блокнот и вижу там свои же слова, написанные моим же почерком, синей шариковой ручкой, которую я грыз на ходу. Я не чувствую злости. Злость — это активное чувство, требующее выхода, требующее энергии. У меня нет этой энергии. Только пустота. И еще — странное, мутное, знакомое до тошноты облегчение. Мне не придется разрабатывать. Мне не придется отстаивать идею перед скептиками, защищать её, как ребенка от своры собак, править по десять раз, принимать удары критики, видеть, как её кромсают и перекраивают чужие руки. Я отдал свой голос, свою мысль, свой интеллектуальный труд, и она зазвучала. Пусть чужими устами.

Так проще. Так правильнее. Так спокойнее. Спокойствие — вот главная валюта моей жизни, и я плачу за него собой.

Впрочем, однажды я попробовал. Один-единственный раз я попытался сломать систему, выйти из тени, заявить о себе. Это случилось спустя три года молчаливого, незаметного труда, когда молчание скопило внутри меня критическую массу какого-то иррационального, темного протеста. Был сложный проект, мы бились над оптимизацией одного процесса, бились, как мухи о стекло, и я нашел решение. Простое, элегантное, как математическое уравнение со всеми сокращающимися неизвестными, как ключ, идеально подходящий к замку. Оно пришло мне в голову ночью, в три часа, когда город за окном спал, а я лежал без сна, глядя в потолок. Я даже сел на кровати, включил лампу и начал лихорадочно записывать этапы в телефоне, с колотящимся сердцем, чувствуя, как adrenaline разливается по венам. «Завтра, — сказал я себе, сжимая телефон в руке, — завтра я это озвучу. Это мое. Я это скажу. Я больше не буду молчать». На утро я репетировал речь в душе, глядя, как струи воды разбиваются о кафель. Репетировал в маршрутке, беззвучно шевеля губами, ловя на себе недоуменные взгляды. Репетировал перед входом в офис, стоя у стеклянных дверей, чувствуя, как внутри все дрожит, как перед прыжком в ледяную воду. И вот совещание. Я чувствую, как горят щеки, как сухо во рту, как шершавый язык прилипает к нёбу. Я жду пау-

зы, момента затишья, крошечного разрыва в гомоне голосов, чтобы вклинить свой голос. Я не узнаю его, когда он наконец вырывается. Он звучит глухо, неуверенно, словно из-под подушки, словно сквозь толстый слой ваты. «А можно... я скажу?» Тишина. Звонящая, стеклянная тишина. Повернутые ко мне головы. Удивление на лицах. Они не привыкли, что предметы интерьера разговаривают, что тени обретают голос. Я начинаю говорить, излагаю идею, стараюсь четко, по пунктам, как репетировал. Но голос предательски дрожит, срывается на писк, я чувствую, как предательский румянец заливает шею, подбирается к ушам, делает мое лицо пунцовым. На середине моей тщательно выстроенной тирады руководитель перебивает меня, даже не взглянув в мою сторону, повернувшись к Саше: «Слушай, а это стыкуется с тем, что ты вчера предлагал? Интересная мысль. Давай-ка это потом отдельно обсудим, а то у нас времени в обрез, повестка горит». Я замолкаю на полуслове. Словно кто-то выдернул шнур из розетки, и меня, аппарат, просто выключили. Мысль моя, так и не высказанная до конца, не дышавшая, не жившая, повисает в воздухе ненужным лоскутом и медленно падает, как осенний лист в безветренную погоду. Я киваю, губы сами растягиваются в заученную, удобную улыбку. «Да, конечно, это неважно. Потом так потом». И я снова — удобный, понимающий, не создающий проблем. Снова втягиваюсь в свою раковину. Второй ряд. Третий ряд. Задний план. Камера переезжает на других актеров, а я остаюсь за кадром.

После того совещания я вышел в коридор к кулеру и долго пил воду, стакан за стаканом, чувствуя, как холод расплывается внутри, тушит пожар унижения, заливает угли стыда ледяной водой. Я не винил руководителя — он действовал в рамках своей логики, логики эффективности и громких голосов. Я не винил Сашу — он просто был собой, ярким, громким, умеющим брать. Я винил только себя. За неумение подать, за дрожащий голос, за идиотскую, неуместную робость, за отсутствие той самой харизмы, которая, видимо, дается при рождении и которой меня обделили. Если мысль не может пробить себе дорогу, если она умирает, едва родившись, если она не способна пробить толщу равнодушия, значит, она была недостаточно сильна. Значит, я был недостаточно силен. Это естественный отбор идей, дарвиновский закон офисной биологии. И я снова проиграл. Снова, в который раз, с самого детства, с того самого случая у школьного крыльца. Я улыбался коллегам, кивал, соглашался с ничего не значащими репликами, а внутри росло и ширилось знакомое, почти комфортное уже чувство: я — сжатая пружина, которая никогда не разожмется. Потому что разжаться — значит задеть кого-то. Разжаться — значит занять собой все пространство, вытолкнуть кого-то из зоны комфорта. А это непозволительная роскошь для человека, чье главное предназначение — не мешать.

С друзьями все было устроено по тому же принципу, отлаженному, как швейцарские часы, и такому же безотказному. Наши посиделки, вечера в пятницу, походы в прокуренные бары с липкими столами, поездки на шашлыки — я всегда был центром тишины внутри громкой компании. Центром, который впитывает, но не излучает. Я — идеальный слушатель. Нет, правда, я возвел это в ранг высокого искусства, отточил до совершенства, до автоматизма. Я смотрю в глаза, я киваю в нужные моменты, я издаю понимающие междометия, я задаю наводящие вопросы, которые, как умело подброшенные дрова, заставляют чужую историю гореть ярче и дольше. Я помню мельчайшие, ничтожные детали чужих жизней, создавая у каждого иллюзию, что он — центр моей вселенной. Как зовут кошку друга детства, которая умерла пять лет назад. На какое море ездила коллега два года назад и что у ее сына аллергия на арахис. Какие планы на повышение у знакомого моего знакомого и что он думает о новом начальнике. Я — ходячий склад чужих воспоминаний, радостей, тревог, обид, сплетен, надежд. Архив, в котором можно найти любую информацию, потому что она никогда не вытирается, всегда под рукой. На меня можно положиться. Мне можно выговориться в три часа ночи, когда больше никто не берет трубку. Меня ценят. Меня называют «душой компании», хотя какая же я душа, если я молчу? Видимо, та душа, что обитает в исповедальне, молчаливый свидетель, хранитель секретов.

Но иногда, все реже и реже, в крошечной паузе между чьим-то рассказом о несправедливости начальника и чьей-то историей о неудачном, затянувшемся на полгода ремонте, я ловлю себя на мысли, что и сам хочу что-то сказать. Что-то, что случилось со мной. Что-то, что меня тревожит, или радует, или мучает, или заставляет просыпаться по ночам. Я делаю почти незаметный вдох, чуть приоткрываю рот, готовлюсь вытолкнуть первый звук. И в этот самый момент кто-то другой, более быстрый, более наглый, более уверенный в своем праве звучать, начинает говорить. Потому что моя пауза, мое приготовление, мое внутреннее согласование с самим собой слишком длинны. Я слишком долго разбегаюсь, проверяю шасси, запрашиваю разрешение на взлет, и взлетная полоса всегда оказывается занятой более нахальным самолетом. И я снова закрываю рот, делаю глоток остывшего чая или кислого вина, и продолжаю слушать. Я улыбаюсь чужим шуткам, сочувствую чужим бедам, вхожу в чужое положение. Мои же собственные истории — когда они все-таки доходят до стадии озвучивания в редкие моменты абсолютной тишины — кажутся мне тусклыми, несостоящими, лишенными остроты, сюжета, пуанта. Пресными. Кому будет интересно слушать о том, как я в одиночестве ходил в кино на дневной сеанс и сидел в пустом зале? Или о книге, которая меня поразила до глубины души, но которую никто из присутствующих не читал и читать не собирается? Это же

так скучно, так неважно, так несоразмерно чужим драмам с увольнениями, изменами, болезнями, разводами. Гораздо важнее, что у друга проблемы с девушкой, что у подруги конфликт с мамой, перешедший в затяжную холодную войну. Я нужен для того, чтобы слушать. Это моя незаменимая роль. Я — жилетка, я — контейнер для эмоций, но не грудь, на которой плачут. Я — функция, но не человек. И компания, надо отдать ей должное, это тонко чувствует на каком-то инстинктивном уровне. Меня не зовут, когда хотят безудержно веселиться, когда собираются шумной толпой в караоке или ночной клуб. Меня зовут, когда кому-то нужно выговориться, поплакаться, найти утешение, понимание без осуждения и безусловное принятие. Я — бесплатный психотерапевт с круглосуточным доступом, которому забывают заплатить и которого всегда забывают спросить в конце сессии: «А как у тебя дела? А что у тебя на душе?»

Отношения с женщинами были закономерным, почти геометрически точным продолжением этой пьесы. Драма в нескольких актах, с разными декорациями, разными актрисами, но с одним и тем же, до отвращения предсказуемым финалом. Сначала — восторг узнавания, тот самый медовый месяц, когда меня принимали за чудо. «Ты такой чуткий! Не то что все мужики, которые только о себе, о своем футболе и своей машине! Ты так слушаешь! Ты все понимаешь с полуслова!» Я действительно слушал. Я действительно понимал.

Я впитывал информацию о ней, как губка, я перенастраивал свои внутренние настройки под ее частоту. Я растворялся в другом человеке без остатка, принимал его форму, как вода принимает форму сосуда, как газ заполняет весь предоставленный ему объем. Я запоминал, какой она любит кофе, сколько ложек сахара, какую пену предпочитает. Каких цветов не переносит, какие темы для нее болезненны, а какие — желанны и вожаделенны. Я становился идеальным отражением ее желаний, зеркалом, в котором она видела только себя, свою лучшую, самую понятую версию. Я сжимался до размеров точки, до сингулярности, до полного исчезновения, чтобы дать ей бесконечное пространство для самовыражения, для разворачивания ее личности. Я жертвовал своими интересами, своим временем, своими привычками, своим «я», словно это была разменная валюта, дешевые фантики, на которые можно купить любовь.

Первое время это безотказно срабатывало. Меня носили на руках, меня хвастились перед подругами, как редким трофеем: «Смотрите, какой золотой человек! Не мужик, а мечта!» Я чувствовал себя нужным, ценным, выполняющим свою главную функцию — быть идеальным партнером. Но проходил месяц, два, три, и в глазах напротив, в этих глазах, которые еще недавно смотрели с обожанием, начинало сквозить странное, необъяснимое беспокойство. Сначала легкое, как рябь на воде, потом все более явное, как набегав-

ющая волна. Недоумение. Затем — разочарование, горькое, как полынь. «Ты какой-то... бесхребетный», — бросила мне одна, и это слово ударило хлыстом, оставив невидимый рубец. «Ты никогда не споришь. С тобой невозможно по-настоящему близко, невозможно пробиться. Ты как стенка, мягкая, обитая войлоком, но от нее все отскакивает», — сказала другая, задумчиво глядя в окно. «Я тебя не чувствую. Где ты настоящий? Чего ТЫ хочешь? Чего ты хочешь на самом деле, не для меня, не для нас, а для себя?» — допытывалась третья, почти с отчаянием в голосе. И я не знал, что им ответить. Я стоял перед ними, как голый перед судом, и не мог выдавить из себя ни слова. Чего я хочу? Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Чтобы ты не сердилась. Чтобы у тебя ничего не болело. Чтобы в доме был мир. Это не было ответом, это была жалкая пародия на ответ, очередной виток ухода в тень, увиливания от самого себя. Я не знал, чего я хочу, потому что разучился хотеть.

Я помню один вечер, ставший, наверное, моментом истины, который я тогда, по своей всегдашней привычке, не осознал, не прочувствовал до конца, а лишь заархивировал в папку «неприятное». Мы сидели на кухне съемной квартиры. Она, эффектная брюнетка с резкими, точеными чертами лица и вечно недовольным, капризным изгибом ярко накрашенных губ, курила в приоткрытое окно и говорила. Говорила долго, эмоционально, захлеб, о своей работе, о неспра-

ведливости мира, о том, как ее не ценят, как не видят ее потенциал, как ей тесно в этих рамках. Я слушал, как слушал всегда — всем существом, подавшись вперед, кивая, поддакивая, вставляя сочувственные междометия. Я был идеальным слушателем. Я был им всегда. В какой-то момент она резко развернулась, так резко, что пепел с сигареты упал на подоконник, и посмотрела на меня в упор. В ее взгляде читалась неожиданная, почти беспричинная злость, смешанная с безразличностью, с какой-то усталой гадливостью. «Знаешь, в чем твоя проблема? — спросила она риторически, не ожидая ответа. — Ты — пустое место. Ты удобный. Как старые, растоптанные тапки. Не жмут, не натирают, но и радости никакой. Их не замечаешь. В тебе нет жизни, нет стержня, нет ничего, обо что можно было бы пораниться или, наоборот, согреться. Ты даже сейчас смотришь на меня и думаешь не о том, что я говорю, а о том, как правильно отреагировать, чтобы я успокоилась, чтобы мой гнев сошел на нет. Ты — функция. Ты не существуешь». Она потушила сигарету о край пепельницы, резко, с хрустом, и вышла из кухни, оставив меня одного в облаке горького, сизого дыма, который медленно уплывал в форточку. Я сидел неподвижно и смотрел в одну точку — в трещину на кафельной плитке над плитой. Удобный. Пустое место. Не существуешь. Самое страшное в ее словах было не то, что они были жестоки. Самое страшное было то, что она была права. Абсолютно, математически, беспощадно права. Я — функция. Я — отражение чу-

жих ожиданий, кривое зеркало, подстраивающееся под каждого. Во мне нет своего центра, своей сердцевины, своего тектонического ядра, которое болит, радуется, злится и хочет просто потому, что это его природа, его право.

Эта мысль не обожгла меня, не ударила молнией. Она легла внутрь ледяным, тяжелым, гладким камнем, который будет лежать там и медленно остужать все вокруг. Я встал — ноги были ватными, чужими — и подошел к зеркалу в прихожей. Старое, мутноватое зеркало в деревянной раме, доставшееся вместе с квартирой. Из зеркала на меня смотрел самый обычный человек. Не урод, не красавец — среднее арифметическое, размытый типаж без запоминающихся черт. Темные волосы, нуждающиеся в стрижке, обычный лоб, обычный нос, губы, которые не умеют ни кричать, ни целовать жадно. Взгляд, который словно прячется внутрь, ускользает, даже когда смотрит в собственное отражение. Я попытался улыбнуться. Мышцы послушно, механически растянули губы, обнажив зубы. Я попытался нахмуриться. Брови сошлись на переносице, образовав вертикальную складку. Я попытался заглянуть самому себе в глаза — в эти темные зрачки, в эту бездонную черноту. И не смог. Взгляд ускользал, как вода сквозь пальцы, как ртуть, распадаящаяся на шарики, он не фокусировался, не встречался сам с собой. Я поднял руку и медленно, как в густом сне, приложил распластанную ладонь к холодному стеклу, пыта-

ясь нащупать, удостовериться в наличии кого-то там, внутри зазеркалья. «Я есть, — прошептал я одними губами, чувствуя, как воздух едва колыхнется у рта. — Я ведь есть». Но звук упал в пустоту квартиры, поглотился тишиной и не породил эха. Ладонь чувствовала лишь холод стекла, его твердую, непроницаемую, равнодушную гладкость. Я стоял и смотрел на человека напротив, и меня накрывало жуткое, леденящее душу, спирающее дыхание узнавание. Узнавание того, что я подозревал давно, но боялся сформулировать. Я есть. У меня есть паспорт с фотографией, где я тоже с краю кадра, есть прописка, место работы, имя, отчество, фамилия. Я потребляю кислород, перерабатываю пищу, занимаю определенные координаты в пространстве-времени. Но меня — как сущности, как монады, как уникального сгустка бытия — как будто не существует. Я — лишь функция, алгоритм, набор реакций на стимулы. Механизм, тонко и хитроумно настроенный на то, чтобы быть удобным, не доставлять хлопот, не создавать шума. Я — это не «я», не субъект, не автор. Я — это то, что удобно другим. Моя жизнь — это текст, написанный под диктовку чужих ожиданий, и в этом тексте нет ни одного моего собственного слова.

Я не помню, сколько времени я так простоял. Минуту? Час? Вечность, застывшую в янтаре этого открытия? Время потеряло свою структуру, свою железную поступь, оно стало тягучим и бессмысленным, как кисель. За окном стемне-

ло, последние отблески заката погасли, уступив место фиолетовой черноте. В комнате сгустились тени, они выползли из углов, поглощая контуры предметов, делая мир плоским, черно-белым, нереальным, похожим на плохую театральную декорацию. Я отошел от зеркала, ноги подкосились, и я медленно сполз по стене на пол, сел, прислонившись спиной к холодной, шершавой поверхности. Где-то в глубине, под толщей лет подавления, под спрессованными пластами молчания, соглашения и самоумаления, шевельнулось странное чувство. Не боль, не обида — пока нет. Для боли нужна личность, которая может болеть. Скорее, изумление — холодное, отстраненное, почти научное изумление, как у человека, который прожил всю жизнь в доме и внезапно, случайно обрушив стену, обнаружил, что в нем нет ни одной несущей балки. Только хрупкие, фанерные перегородки из ожиданий, чужих желаний, социальных норм и страха помешать. Красивый, но пустотелый фасад, за которым — ничего, черная пустота, вакуум.

Я попытался вспомнить, когда я в последний раз чего-то хотел по-настоящему. Истово, до дрожи в коленях, до невозможности дышать, до сладкой рези в животе. Не того, что «правильно» хотеть, не того, что от меня ожидали родители, учителя, друзья, девушки, начальники. А своего — дикого, абсурдного, нелогичного, личного, интимного желания, которое идет не из головы, а из живота, из самой сути, из того

самого несуществующего ядра. Я перебирал в памяти годы, как старые, пожелтевшие фотографии, как карточки в библиотечном каталоге. Институт? Нет, там я хотел получить диплом, потому что так надо, потому что без диплома нельзя. Школа? Тем более. Детство? Я напряг память, копаясь в самых дальних, самых ранних, стершихся почти до дыр архивах. В детстве я хотел набор оловянных солдатиков, раскрашенных вручную, с крошечными ружьями и саблями. Но вместо этого попросил у родителей новую азбуку, красивую, с глянцевыми страницами и яркими картинками, потому что знал, предугадывал, чувствовал спинным мозгом, что азбука обрадует маму, что мама скажет «Какой ты у нас серьезный, не то что другие дети». А солдатики — это баловство, блажь, пустая трата денег. Я тогда еще улыбался и говорил, глядя в ее теплые, усталые глаза: «Я пошутил, мам, мне конечно азбука нужнее, я же читать учусь». Я врал так виртуозно, так самоотверженно, так вдохновенно, что сам в это верил. Я уговорил себя, переписал историю своего желания на белом, без помарок. И таких солдатиков, таких несостоявшихся желаний, таких задушенных в колыбели хотений у меня были сотни. Тысячи. Я перестал хотеть, чтобы никому не мешать, чтобы быть легким, удобным, портативным. Я перестал звучать, выключил свой внутренний камертон. Я выключил в себе жизнь, оставив лишь ее безупречную имитацию, симуляцию существования, ходячий манекен с функцией эмпатии.

И вот теперь я сижу на полу пустой квартиры, идеальный сосед — меня никогда не слышно, идеальный друг — я всегда готов выслушать, идеальный сотрудник — я незаменим и невидим, идеальный никто. Человек, который исчез еще до того, как появился, который так и не родился в полном смысле этого слова. Второй ряд окончательно поглотил меня, стал единственным местом, где я мог находиться, единственной возможной позицией в пространстве. Я стал настолько прозрачным, что перестал видеть даже самого себя. Я поднес руку к лицу и посмотрел сквозь нее — так смотрят сквозь грязное стекло. Мне показалось, что я вижу сквозь ладонь очертания двери, размытый свет в коридоре. И самое страшное, самое безысходное, самое тошнотворное в этой ситуации было то, что мир этого даже не заметил. Потому что мир всегда смотрит только в центр. А я всегда был с краю. И буду с краю. Потому что второй ряд — это не место в пространстве, это способ существования, диагноз, клеймо, которое не смыть. Я это понял. И от этого понимания не стало легче, оно не принесло катарсиса. Оно лишь расставило все по своим местам, подсветило беспощадным, операционным светом всю конструкцию моей пустой, прозрачной, никому не видимой жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.